

П

осле исчезновения Петьки наша деревня осиротела. Бывает иногда так: живешь себе не замечая чего-то привычного, а потом оно неожиданно пропадает, и ты остро начинаешь ощущать, как этого тебе не хватает.

Так было и с Петькой.

Теперь, по прошествии многих лет, став не просто взрослым, а совсем седым, я вдруг вспомнил его, и мне стало несказанно стыдно и непоправимо больно за себя и своих босоногих сверстников, за все наши издевательства и оскорбления, что каждодневно причиняли Петьке.

Было ему, наверное, около двадцати. Но это от роду, а умишком Бог его сильно обидел, потому взрослые относились к нему как к ребенку, а мы уже учились в начальных классах стоявшей на некотором отдалении от деревни школы и за своего парнишку не принимали. Даже дошкольная мелюзга дразнила его «Петька-дурак». А он всем улыбался и никогда ни на какие дразнилки не обижался.

Он не обиделся, даже когда мы сунули вместо хлебного каравая засохшую коровью лепешку в его сшитую из старой мешковины сумку наподобие виденной на картинке какого-то известного художника из букваря. Он неизменно улыбался во весь рот, показывая ряды выщербленных зубов, кланялся нам в пояс и благодарил за угощение, а мы хохотали над ним до колик в животе.

Эту коровью лепешку он нес домой, прижимая сумку к груди, будто там был настоящий духмяный каравай свежеспеченного хлеба. Не знаю, кому первому пришла в пустую голову эта идиотская забава, но в нашей ватаге она вызвала настоящий восторг. Только в тот же вечер Петькина мать со слезами рассказала кому-то из соседей, и пришла пора расплаты.

Меня тогда впервые в жизни отец нещадно порол своим солдатским ремнем. Было не столько больно, сколько обидно, что дразнили Петьку все, а досталось мне одному. Едва я натянул на свой тощий зад штаны и застегнул пуговку лямки, на которой они держались, мать протянула мне кринку молока:

— На, отнеси Петькиной матери. Да извинись!

— Не пойду, — заупрямился было я, но отец снова потянулся за подвешенным у окна ремнем, на котором ловко правил бритву:

— Добавки хочешь?

Я молча взял кринку и поплелся к Вале-кулачке. Жили они с Петькой не в деревянном доме, как все люди, а почему-то в бане, что стояла сразу за сельсоветом. Перед дверью в нерешительности остановился: распиравшая гордость не позволяла вот так просто зайти, отдать молоко, будто откупное за нанесенную обиду, извиниться почему-то за всех, поскольку обижали Петьку все.

Потом все же потянул за кованую скобу щелястой двери предбанника, снова в нерешительности потоптался и, глубоко вздохнув, шагнул внутрь.

В бане на месте каменки стояло небольшое подобие привычной для всех наших домов русской печи с плитой и коротенькой лежанкой. На полке из старых ватных одеял была устроена постель, рядом на широкой лавке — вторая. В углу у входа на сколоченном из досок столике стояли две щербатых кружки, миска да две полуизгрызенных от времени деревянных ложки.

— Вот, мама отправила, — проямлил я и протянул Вале-кулачке кринку, накрытую белой тряпицей.

— Ой, а у меня и перелить не во что, — виновато сказала Валя-кулачка и растерянно стала озираться по сторонам. — Можно я кринку мамке завтра утром на ферме отдам?

Я пожал плечами:

— Мне то что... И это... ишо... Ты, Петька, извини... Я больше не буду.

Петька сидел у крохотного оконца и привычно улыбался во весь рот. Я толкнул дверь, пулей вылетел на улицу, больно стукнувшись головой о низкую притолоку.

— Отдал? — строго спросила мать.

— Ну а куда бы дел? — сердито буркнул я в ответ.

— Да кто тебя, шалопаю, знает? Может, и вылил. Кринка-то где?

— Завтра на ферме отдаст.

— Я бы ему вылил! — пригрозил отец. — Иди ноги мой да спать. Утром на сенокос рано вставать. Будешь валки за мной разбивать.

Обычно после нелегкой деревенской работы, которой каждому доставалось сполна в соответствии с его возрастом, набегавшись вечером с пацанами в звери-охотники, я тут же проваливался в глубокий сон. На этот раз от перенесенного унижения, что отдуваться пришлось одному за всех, долго ворочался с боку на бок, но никак не мог заснуть, строя коварные планы, как половчее насолить Петьке — да чтобы потом не попало дома.

Мой настоящей сватг вернулся с фронта весь израненный, но прежде чем умереть, сумел сварганить меня. Как я еще в раннем детстве случайно слышал от соседки, дело это нехитрое и большого здоровья не требует. Потом мама вышла за моего нынешнего отца. Он приехал на похороны своего друга, с которым вместе воевали, да так и остался в нашей деревне, поскольку деваться было больше некуда: семья его погибла во время оккупации. Года через два мамка расписалась с ним в сельсовете, и он, до этого снимавший угол у бабки Дарьи, перешел жить к нам. Был он строгим, но никогда не только не наказывал меня ремнем, даже не давал затрещины — хотя, понимаю, заслуживал я этого часто.

— А почему они в бане-то живут? — услышал я шепот.

— Ну, да это старая история, все деревенские знают, только ты, пришлый, в неведении. Когда Вальке еще года четыре было, их раскулачили и отправили куда-то на Север. В их доме сельсовет устроили, а баня сельсоветским зачем? Дома свои есть. Вот и стояла без дела, пока Валька-кулачка домой не вернулась. Добиралась долго, даже вроде бы в монастыре каком-то послушницей была. Да вернулась-то с приданным. Шура рассказывала, от какого-то начальника там на поселениях понесла.

— Ну, Шурку слушать... Балаболка еще та.

— Да я не про Шурку-балаболку, про Шуру Большую. Она Вальку-то приютила, когда та домой вернулась. А куда домой, когда в доме-то сельсовет? Кто ж ей сельсовет-то отдаст. Вот в бане печку сложили да туда на житье кулачку и определили. Шура сказывала, начальник-то тот больно боялся, что под трибунал пойдет за изнасилование малолетки, и, когда Валька-то понесла, бил смертным боем, чтобы выкидыш случился. А вот, вишь ты, родила. Только за что-то Бог наказал — верно, у мальчика от битья того с головой неладно стало. Да и сама Валька от тех издевательств разумом немного помутилась. Потому начальник тот и выхлопотал ей переселение обратно, с глаз долой подальше. Вот как баню-то переделали, Вальку на ферму скотником определили. Дояркой бы надо было, да кто же кулачку в войну к общественным коровам подпустит — еще навредит чем. Так с тех пор навоз и прибирает. Ну, деревенские, конечно, помогли кто чем, да только все одинаково небогато жили, одежонку как-никаку справили, обувь. Мы-то ее родители почти и не знали, а старики обиды не держали, говорят, справедливый был отец-то, не забижал. Даже тех, кто по злобе да из зависти на собраниях несуряцицу всякую нес и под раскулачивание подводил. Да и Петьку жалели, дурачков-то у нас все любят, не обижают.

— Вот и я понять не могу, отчего наш-то додумался издеваться?

— Да там не только наш. Все они над дурачком измывались, только раньше-то просто дразнили, а тут...

— Да уж, как фашисты в лагере. Вместо хлеба коровьи лепешки в сумку совать.

Это сравнение с фашистами меня сначала взбесило, а потом заставило залиться краской стыда. Надо же! Меня, который никогда во время игры в войнушку ни за что не соглашался быть немцем, с фашистом сравнили. Я отвернулся к стене лицом да, так и не справившись с обидой, вскоре заснул.

...Как оказалось, попало накануне не мне одному. Мне еще повезло, потому что широкий ремень не оставлял на заднице рубцов, а у соседского Кольки ниже спины все было в красных полосках от гибкой вицы, выдранной из голика. Этот урок нас образумил. Больше мы Петьку не

задирали, и он теперь смело приходил за деревню, где мы играли то в напругон-попа, то в звери-охотники. Но в свои игры мы его не допускали, потому что был он раза в два старше нас.

А посреди лета Вальку-кулачку убило грозой. Шла она вечером с фермы, спряталась от дождя под старой сосной, в которую и долбануло молнией, переломив ствол надвое и расщепив до основания высокий пенёк. Нашли ее утром, когда доярки пошли на работу.

Бабы на похоронах рыдали, а Петька шел за гробом с неизменной улыбкой, не осознавая происходящего. Зато когда гроб стали опускать в могилу, истошно завыл, упал на землю и начал биться в истерике.

Поминальный стол устроили вскладчину, а потом бабы сложили остатки еды и отнесли Петьке в баню.

Утром, собравшись по обычаю пойти на погост, кто-то зашел за Петькой. Он сидел на лавке в каком-то черном балахоне, привычной улыбки на его лице уже не было. Он сидел, низко опустив голову, смиренно подал протянутую руку, послушно встал и пошел вместе со всеми на кладбище. На спине его черного до пят балахона с капюшоном белой краской был нарисован большой восьмиконечный крест.

— Петька-та, — увидев этот наряд, сказала Шура Большая, — истинно схимник какой. Откель только рясу-то взял?

Кто такой схимник¹, никто из нас не знал, но кличка за Петькой закрепилась сразу. Какое-то время он жил в своей бане, под вечер проходил вдоль деревни со всем хорошо знакомой сумкой из мешковины, в которую сдобольные бабы складывали еду, и отправлялся к себе домой. Смотреть на наши игры он больше ни разу не приходил.

Говорили, что председатель звонил в район, спрашивал, как быть с инвалидом на всю голову, выслушивал обещания пристроить того куда надо, но дело это, видно, было долгим и канительным, поскольку Схимник Петька прожил у нас до глубокой осени. А потом неожиданно куда-то исчез. Просто не появился на деревне один вечер, другой. Пошли бабы посмотреть, не захворал ли, но в бане было пусто.

Вот так и осиротела наша деревня, сплоченная было заботами об одном дурачке, который сохранился в цепкой детской памяти как Схимник Петька, хотя имен многих друзей раннего детства я уже и не помню.



¹ Великая схема — это совершеннейшее отчуждение от мира для соединения с Богом. Монах, принявший великую схему, называется схимником. В древности великосхимники давали обет — вселиться в затвор, закрыться в одинокой пещере, как в гробу, и тем самым полностью умереть для мира, оставшись наедине с Богом.